

# **Алая буква**

Интригующая, полная загадок история грешной страсти, жгучей ревности и безграничной преданности!

Из ворот бостонской тюрьмы выходит красивая девушка с младенцем на руках. На груди ее платья вышита алыми нитками буква «А» — клеймо прелюбодеяния. Каждый день Эстер должна стоять у позорного столба, чтобы искупить свой грех — измену мужу, который исчез много лет назад, а теперь неожиданно вернулся...

Старый доктор Чиллингворс, супруг Эстер, не в силах простить ей предательство. Он горит желанием отыскать того, кто отнял у него возлюбленную. Но ни угрозы, ни уговоры, ни мольбы не помогли ему вырвать у красавицы имя этого человека. Чиллингворс сам начинает поиски. Его месть будет жестока!

Также в издание вошел роман «Дом с семью шпильями».

НАТАНИЭЛЬ ГОТОРН



Алая  
Буква

2 романа  
в одной  
книге

Прелюбодейка или святая, грешница или мученица?

КНИЖКА  
СЕМЕЙНОГО  
ДОСТА

**Натаниэль Готорн**

**Алая буква**

**Р**оманы



Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»  
2014

© Nemiro Ltd, издание на русском языке, 2014

© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», перевод и художественное оформление, 2014

ISBN 978-966-14-7945-5 (epub)

Никакая часть данного издания не может быть скопирована или воспроизведена в любой форме без письменного разрешения издательства

## **Электронная версия создана по изданию:**

Грішниця, блудниця, перелюбниця! Пуританські звичаї не знають милосердя, і за зраду чоловіка молода Естер Принн засуджена до ганебного стовпа. Довічно вона приречена носити на одязі червону букву — знак безчестя. Чоловікові Естер несла її пробачити. Він вирішує будь-що дізнатися, хто є батьком дитини, і помститися...

До видання також увійшов роман «Будинок із сімома шпилями».

### **Готорн Н.**

Г73 : роман / Натаниэль Готорн ; пер. с англ. Т. Ивановой ; предисл. А. Осьмачко. — Харьков : Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга» ; Белгород : ООО «Книжный клуб “Клуб семейного досуга”», 2014. — 656 с.

ISBN 978-966-14-7653-9 (Украина)

ISBN 978-599-10-3001-4 (Россия)

ISBN 978-149-29-6407-0 (англ.)

ISBN 978-148-40-1769-2 (англ.)

Грешница, блудница, прелюбодейка! Пуританские нравы не знают пощады, и за измену мужу молодая Эстер Принн приговорена к позорному столбу. До конца своих дней она обречена носить на одежде алую букву — знак бесчестия. Муж Эстер не в силах ее простить. Он решает во что бы то ни стало узнать, кто является отцом ребенка, и отомстить...

В издание также вошел роман «Дом с семью шпилями».

**УДК 821.111(73)**

**ББК 84.7США**

Переведено по изданиям:

Hawthorne N. The Scarlet Letter : A Novel / Nathaniel Hawthorne. — Create Space Independent Publishing Platform, 2013. — 206 p.

Hawthorne N. The House of the Seven Gables : A Novel / Nathaniel Hawthorne. — Create Space Independent Publishing Platform, 2013. — 194 p.

Перевод с английского *Татьяны Ивановой*

Дизайнер обложки *Виталия Котляр*

В оформлении обложки использована иллюстрация *Натальи Струковой*

**Н**атаниэль Готорн мало известен нашему читателю, а между тем он один из признанных мастеров американской литературы. Готорн написал несколько романов, а также множество мистических и романтических рассказов и детских повестей.

Будущий писатель родился в 1804 году в Салеме, штат Массачусетс, в семье морского капитана. Предки его были ревностными пуританами, принадлежавшими к одной из первых волн переселенцев на американский континент. Они отличались крайней строгостью нравов, расчетливостью и бережливостью. Пуритане-кальвинисты отрицательно относились к празднествам и развлечениям, а нарушения морали рассматривали как уголовные преступления. Именно колонисты-пуритане устроили в конце семнадцатого века знаменитый Салемский суд над женщинами, обвиненными в колдовстве, закончившийся массовой казнью «ведьм». Среди судей, вынесших обвинительный приговор, был предок Натаниэля Готорна.

Мрачное наследие этих событий всю жизнь тяготило будущего писателя. С детства он был замкнутым и нелюдимым. Ранняя смерть отца обрекла семью на бедное, затворническое существование. После окончания колледжа Готорн уединенно жил в родном Салеме, работая над своими первыми произведениями, заметное место в которых занимала тема вины за старые грехи, в том числе за деяния предков. После неудачной публикации первого романа он издал сборник рассказов, который был хорошо принят и даже с восторгом оценен классиками американской литературы Генри Лонгфелло и Эдгаром По.

В это же время Готорн увлекся различными философскими учениями и даже вступил в 1841 году в коммуну фурьеристов-социалистов-утопистов, члены которой стремились сочетать физический труд с духовной культурой. Коммуна гарантировала каждому участнику жилье, средства к жизни, бесплатное образование и медицинскую помощь. В течение нескольких месяцев Готорн работал как простой фермер, а по вечерам участвовал в беседах на философские и моральные темы, однако вскоре разочаровался в идеях коммунаров и ушел из общины.

Готорн был вынужден пойти на службу таможенным чиновником, искал подработки на литературном поприще. Он планировал издать сборник «Старинные легенды», для которого были уже готовы некоторые рассказы и общий вступительный очерк «Таможня». Для этого сборника Готорн решил написать «длинный рассказ» или повесть из жизни Бостона времен колонизации. Так появился роман «Алая буква», который писатель создал менее чем за полгода. После публикации в 1850 году роман стал бестселлером и с тех пор считается одним из краеугольных камней американской литературы. Это был первый из американских романов, вызвавший широкий резонанс в Европе. «Алая буква» — настоящее художественное открытие, роман не о сухих исторических фактах, а о трагических и волнующих человеческих судьбах.

Через год после успешного издания «Алой буквы» Натаниэль Готорн издал роман «Дом с семью шпилями», посвященный истории вековой вражды двух американских семейств, приведшей их к упадку. Это произведение стало вторым по популярности среди литературного наследия Готорна.

Однако Готорн вместе со славой подвергся нападкам. Жители Салема, сохранившие строгие пуританские нравы предков, были настолько разгневаны романом, что Готорну пришлось увезти семью в Беркшир. В дальнейшем он принял должность американского консула в Ливерпуле и жил в Европе, где отношение к его творчеству было намного демократичнее. Готорн посетил также Италию, Шотландию и, вернувшись в Америку, застал самый разгар гражданской войны. Его друг Франклин Пирс был объявлен изменником, и посвященная ему новая книга принесла Готорну множество неприятностей. Последние годы писатель провел в полном уединении.

Произведения Натаниэля Готорна были так успешны, что уже в 1855 году по сюжету одной из его книг была поставлена опера, а в 1908-м снят первый фильм. С тех пор его романы экранизировались многократно, а в голливудской версии «Алой буквы» (1995) снимались такие известные киноактеры, как Деми Мур, Гэри Олдмен и Роберт Дювалл.

Захватывающий сюжет, трогательные истории любви, яркий исторический фон — чтение этих романов доставит вам незабываемое удовольствие.



# Алая буква

## Примечание редактора

«Алая буква» появилась, когда Натаниэлю Готорну уже исполнилось сорок шесть, а его писательский опыт насчитывал двадцать четыре года. Он родился в Салеме, штат Массачусетс, 4 июля 1804 года, в семье морского капитана. В родном городе он вел скромную и крайне монотонную жизнь, создав лишь несколько художественных произведений, отнюдь не чуждых его мрачному созерцательному темпераменту. Те же цвета и оттенки чудесно отражены в его «Дважды рассказанных историях» и других рассказах времен начала его первого литературного периода. Даже дни, проведенные в колледже Боудин, не смогли пробиться сквозь покров его нелюдимости; но под этим фасадом его будущий талант к обожествлению мужчин и женщин развивался с невообразимой точностью и тонкостью. Для полного эффекта восприятия «Алую букву», говорящую столь много об уникальном искусстве воображения, сколь только можно почерпнуть из его величайшего достижения, следует рассматривать наряду с другими произведениями автора. В год публикации романа он начал работу над «Домом с семью шпилями», более поздним произведением, трагической прозой о пуританской американской общине, такой, какой он ее знал, — лишенной искусства и радости жизни, «жаждущей символов», как охарактеризовал ее Эмерсон. Натаниэль Готорн умер в Плимуте, штат Нью-Хэмпшир, 18 мая 1864 года.

Далее следует список его романов, рассказов и других работ:

«Фэншо», издан анонимно в 1826; «Дважды рассказанные истории», I том, 1837; II том, 1842; «Дедушкино кресло» (История Америки для юных), 1845; «Знаменитые старики» (Дедушкино кресло), 1841; «Дерево свободы: последние слова из дедушкиного кресла», 1842; «Биографические рассказы для детей», 1842; «Мхи старой усадьбы», 1846; «Алая буква», 1850; «Правдивые исторические

и биографические рассказы» (Полная история дедушкиного кресла), 1851; «Книга чудес для девочек и мальчиков», 1851; «Снегурочка и другие дважды рассказанные рассказы», 1851; «Блитдейл», 1852; «Жизнь Франклина Пирса», 1852; «Тэнглвудские рассказы» (2-й том «Книги чудес»), 1853; «Ручеек из городского насоса», с примечаниями Тельбы, 1857; «Мраморный фавн или роман Монте Бени» (4-я редакция) (в Англии публиковался под названием «Преображение»), 1860; «Наш старый дом», 1863; «Роман Долливера» (1 часть опубликована в журнале «Этлэнтик Маунсли»), 1864; в 3-х частях, 1876; «Анютины глазки», фрагмент, последняя литературная попытка Готорна, 1864; «Американские записные книжки», 1868; «Английские записные книжки», под редакцией Софии Готорн, 1870; Французские и итальянские записные книжки, 1871; «Септимус Фэлтон, или эликсир жизни» (из журнала «Этлэнтик Маунсли»), 1872; «Тайна доктора Гримшоу» с предисловием и примечаниями Джулиана Готорна, 1882.

«Рассказы Белых Холмов, Легенды Новой Англии, Легенды губернаторского дома», 1877, сборник рассказов, ранее напечатанных в книгах «Дважды рассказанные истории» и «Мхи старой усадьбы», «Зарисовки и исследования», 1883.

Готорн много издавался в журналах, и большинство его рассказов сначала выходили в периодических изданиях, в основном в «3э Токен», 1831—1838; «Нью Ингланд Мэгэзин», 1834, 1835; «Кникербокер», 1837—1839; «Демэкретик Ревью», 1838—1846; «Этлэнтик Маунсли», 1860—1872 (сцены из «Романа Долливера», «Септимуса Фэлтона» и отрывки из записных книжек Готорна).

Сочинения: в 24-х томах, 1879; в 12-ти томах, со вступительными очерками Лэтропа, Риверсайд Эдишен, 1883.

Биография и прочее: А. Х. Джапп (под псевдонимом Х. А. Пэйдж) «Мемуары Натаниэля Готорна», 1872; Дж. Т. Филд «Прошлое с авторами», 1873; Дж. П. Латроп «Исследования Готорна», 1876; Генри Джеймс «Английские писатели», 1879; Джулиан Готорн «Натаниэль Готорн и его жена», 1885; Монкур Д. Конвей «Жизнь Натаниэля Готорна», 1891; «Аналитический алфавитный указатель работ Готорна» Е. М. О'Коннор, 1882.

# Таможня

## *Вступительный очерк к роману «Алая буква»*

**О**смелюсь признаться, что — хоть я и не склонен распространяться о себе и своих делах даже у камина, в компании близких друзей — автобиографический импульс дважды овладевал мною в жизни и я обращался к публике. Впервые это случилось три или четыре года назад, когда я почтил читателя — без причин и без малейшего объяснения, которые могли бы представить себе снисходительный читатель или назойливый автор, — описанием моей жизни в Старой Усадьбе. И теперь — поскольку в прошлый раз я был счастлив обнаружить нескольких слушателей вне моего уединенного обиталища, — я вновь хватаю публику за пуговицу и говорю о своем трехгодичном опыте работы в таможне. Примеру знаменитого «П. П., приходского писца» еще никогда не следовали с такой беззаветностью. Однако истина, как мне кажется, заключается в том, что автор, доверив свои листки порывам ветра, обращается не к тем многим, кто отбросит книгу или никогда не станет ее открывать, но к тем немногим, кто поймет его лучше, чем большинство однокашников или знакомых по зрелой жизни. Некоторые авторы заходят еще дальше, позволяя себе такие глубины личных откровений, которые могли бы быть адресованы лишь только одному, самому близкому разуму и сердцу; так, словно книга, брошенная в огромный мир, наверняка найдет ту разделенную с автором часть его природы и завершит круги его жизни, соединив их воедино. Едва ли пристойно говорить обо всем без остатка, даже когда мы говорим не лично. Однако мысли порой застывают, а дар слова порой отказывает, когда у говорящего нет истинной связи с аудиторией, а потому простительно представлять себе, что речь наша обращена к другу, вежливому и понимающему, пусть даже не близкому. Тогда врожденная сдержанность сдается перед чистым разумом и мы можем болтать об

окружающих нас обстоятельствах и даже о себе, храня, меж тем, истинное «Я» сокрытым под вуалью. В этой мере и в этих границах автор, считаю я, может позволить себе автобиографию, не нарушая прав ни читателя, ни своих.

А кроме того, будет видно, что этот очерк о таможене уместен в определенной мере, в той, что всегда признавалась литературой, поскольку он объяснит, как ко мне пришла немалая часть последующих страниц, и послужит доказательством истинности изложенного мною в рассказе.

Это же, к слову — желание поставить себя на надлежащее мне место редактора, и лишь немногим более того, — это, и ничто другое, является истинной причиной, по которой я лично обращаюсь к публике. С целью достижения главной моей цели мне показалось приемлемым добавить несколько дополнительных штрихов для слабого отображения стиля жизни, который ранее не был описан, и несколько персонажей, в числе которых пришлось побывать и автору.

В моем родном городе Салеме, во главе того, что полвека назад, во времена старого Короля Дерби[1], было процветающей верфью, а теперь превратилось в скопище гниющих деревянных складов почти без признаков всякой торговли, кроме разве что барки или брига, разгружающего кожи где-нибудь посреди ее меланхолических просторов, или шхуны из Новой Шотландии, избавляющейся чуть ближе от привезенных дров, — в самом начале этой обветшалой верфи, которую часто захлестывает приливом и вдоль которой, у фундаментов и торцов длинного ряда зданий, долгие годы бездеятельности видны по полоске чахлой травы, — здесь, передними окнами обратившись к упомянутому безжизненному виду, а за ним и к другой стороне гавани, стоит величественное просторное кирпичное здание. С верхней точки его крыши ровно три с половиной часа ежедневно то парит, то свисает, повинувшись смене штиля и бриза, флаг республики; но тринадцать полос на нем расположены вертикально, не горизонтально, тем самым показывая, что правительство дяди Сэма расположило здесь свой гражданский, а не военный пост. Фронтон здания украшен портиком с полудюжиной деревянных колонн, поддерживающих балкон, под которым пролет широких гранитных ступеней спускается к улице. Над входом парит огромный образчик Американского орла, с распахнутыми крыльями и щитом на груди, и,

если я правильно помню, в каждой лапе он держит пучок острых стрел, перемешанных с молниями. Известный дурной характер этой недоброй птицы навевает мысль о том, что она словно грозит своим хищным взглядом и клювом мирному обществу, заставляя мирных граждан беспокоиться о собственной безопасности, когда они входят в здания, которые птица осеняет своими крыльями. И все же, при всей хитрости этой эмблемы, многие люди и в этот текущий момент ищут приюта под крылом федерального орла, представляя себе, осмелюсь предположить, что перья на его груди даруют им мягкость и уют пуховой подушки. Но и в наилучшем расположении духа орлу не свойственна мягкость, и рано или поздно — чаще рано — орел склонен выбрасывать своих птенцов из гнезда когтистой лапой, ударом клюва или порой с раной от острой своей стрелы.

Площадка вокруг описанного выше здания, которое мы сразу же можем назвать таможней этого порта, обильно покрыта травой, пробившейся между плит, и видно, что в последние дни никто не приминал травы у одной обители разного рода дел. В определенные месяцы года, однако, бывают утренние часы, когда дела здесь движутся более оживленно. И эти случаи могут напоминать старшему поколению горожан о том периоде, до последней войны с Англией, когда Салем и сам был портом, не презираемым, как сейчас, собственными купцами и судовладельцами, которые позволяют его верфям гнить и рассыпаться, в то время как сами рискуют быть поглощенными, незаметно и бесполезно, могучим потоком коммерции в Нью-Йорке и Бостоне. Порой в такие утра, когда три или четыре корабля могут прибыть одновременно, обычно из Африки или Южной Америки — или же готовиться к отплытию в иные места, — бывает слышен звук быстрых шагов, спускающихся и поднимающихся по гранитным ступеням. Здесь вы можете повстречать — даже прежде, чем его собственная жена, — просоленного морями капитана, только что прибывшего в порт и несущего корабельные бумаги в потертом жестяном ящичке, зажатом под мышкой. Здесь вам встретится его наниматель, веселый, грустный, любезный или угрюмый, в зависимости от того, чем завершились его планы на закончившийся вояж — товарами, которые готовы обратиться в золото, или же мертвым грузом, от которого никто не поспешит его избавить. И здесь же мы увидим зародыш будущего насупленного, потрепанного купца с

неопрятной бородой — умного юного клерка, который пробует движение на вкус, как волчонок приучается к крови, и который уже рассылает небольшие грузы на кораблях своего хозяина, хотя ему больше пристало бы отправлять игрушечные кораблики путешествовать по мельничному пруду. Еще одной фигурой на этой сцене предстает и готовый к отплытию моряк, стремящийся получить свидетельство о гражданстве, или же недавно прибывший, бледный и дрожащий, в поисках паспорта для пребывания в больнице. Не стоит забывать и капитанов ржавых крошечных шхун, которые привозят топливо из британских провинций, в грубого вида парусиновых куртках и без малейшей восприимчивости к особенностям янки, привозящих товары, совершенно не имеющие значения для нашей умирающей торговли.

Соберите всех упомянутых индивидуумов вместе, как они порой собираются, добавьте несколько других, чтобы разнообразить группу, и на краткий миг таможня покажется вам оживленным местом. Однако куда чаще, поднимаясь по ее ступеням, вы увидите в летние дни у входа или же в более подходящем помещении, если погода сурова и ветрена, ряд почтенных фигур, сидящих в старомодных креслах, откинутых к стене на задних ножках. Очень часто они спят, но время от времени можно услышать, как они беседуют слабыми голосами, больше похожими на храп, с тем отсутствием энергии, который присущ обитателям богаделен и всем тем людям, существование которых зависит от благотворительности, монополизированного рынка, в общем, чего угодно, только не их собственных усилий. Эти престарелые джентльмены, сидящие, подобно Матфею, у входа в таможню, но вряд ли способные подобно ему стать призванными в сонм апостолов, являются чиновниками таможни.

Далее, по левую руку, когда вы зайдете в парадную дверь, находится некая комната, или кабинет, примерно пятнадцати квадратных футов, с высоким потолком и двумя арочными окнами, предлагающими вид на уже упомянутую погибающую верфь, третье же окно выходит на узкую улочку, заканчивающуюся частью Дерби-стрит. Все три дают возможность взглянуть на лавки бакалейщиков, магазины изготовителей клише и торговцев дешевым готовым платьем, судовых поставщиков, у дверей которых обычно можно заметить смеющихся и сплетничающих морских волков вперемешку с

сухопутными крысами, неотличимыми от тех, что водятся и в морском порту Ваппинга. Сам кабинет покрыт паутиной поверх тусклой старой краски, пол его посыпан серым песком — данью моде, которая в иных местах давно уже не используется, и по общему беспорядку легко заключить, что вы находитесь в святилище, куда женский пол с присущими ему волшебными предметами в виде метлы и швабры почти никогда не находит доступа. Что же касается обстановки, там есть плита с широким дымоходом, старый сосновый стол с трехногим табуретом рядом, два или три деревянных стула, ветхих и крайне неустойчивых, и — не стоит забывать о библиотеке — несколько полок, на которых разместились пара десятков томов с постановлениями Конгресса и толстый Свод налогового законодательства. С потолка спускается жестяная трубка, средство голосовой связи с иными частями здания. И здесь же каких-либо шесть месяцев назад то мерил шагами комнату из угла в угол, то сидел на высоком табурете, опираясь локтем на стол и проглядывая колонки утренней газеты, тот, кого вы, любезный читатель, могли бы опознать как человека, который пригласил вас в маленький радушный кабинет, где солнечный свет так приятно мерцает сквозь ветви ивы с западной стороны Старой Усадьбы. Но в данный момент, соберись вы искать его там, вы лишь зря расспрашивали бы о таможеннике-демократе. Метла реформ вымела его из кабинета, и более достойный преемник теперь гордится его должностью и получает его жалованье.

Этот древний город Салем — моя родина, хоть я провел вне его немалую часть моего детства и зрелых лет, — обладает или обладал моей привязанностью с силой, которой я никогда не осознавал в те времена, когда действительно обитал здесь. И в самом деле, стоит учесть физический аспект этого места, его неизменно плоский ландшафт, покрытый преимущественно деревянными зданиями, немногие из которых способны претендовать на архитектурную красоту, — это редкость, в которой нет ни колорита, ни оригинальности, лишь смирение; стоит взглянуть на длинные унылые улицы, тянущиеся с утомительной неизменностью по всей длине полуострова, от Висельного холма и Новой Гвинеи с одной стороны и до вида на богадельню с другой, — таковы черты моего родного города, и с тем же успехом можно питать сентиментальную привязанность к разломанной шахматной доске. И все же, хоть

счастлив я был лишь в иных местах, я испытываю к Старому Салему чувство, которое, за неимением лучшего слова, позволю назвать привязанностью. Вполне возможно, что этой сентиментальностью я обязан глубоким и старым корням, которыми моя семья держалась за эту землю. Уже почти два с четвертью века прошло с тех пор, как урожденный британец, первый эмигрант с моей фамилией, появился среди дикой природы и леса — в огороженном поселении, которое с тех пор стало городом. Здесь рождались и умирали его потомки, их прах смешивался с местной землей, частично переходя и в ту схожую с ними смертную оболочку, в которой я уже довольно давно хожу по улицам города. Следовательно, отчасти моя привязанность, о которой я говорил, не более чем чувственная симпатия праха к праху. Мало кто из моих соотечественников знает, что это такое, к тому же, поскольку частый прилив свежей крови полезен роду, подобное знание не входит в число желанных.

Но сентиментальность является также и моральным качеством. Фигура первого предка, вошедшего в семейные традиции с туманным и сумрачным величием, присутствовала в моем детском воображении, сколько я себя помню. И до сих пор она преследует меня, вызывает странную тоску по родному прошлому, которую я едва ли испытываю к современному городу. Похоже, сильнейшая тяга к обитанию здесь принадлежит этому мрачному предшественнику, бородатому, одетому в черный плащ и островерхую шляпу, который появился так давно, что шествовал, со своей Библией и мечом, по еще не истоптанной улице к величественному порту и был значимой фигурой, мужем войны и мира. Сам я, чье имя не на слуху и чье лицо мало кому знакомо, обладаю ею в куда меньшей мере. Он был солдатом, законодателем, судьей, он правил местной Церковью, имел все черты пуританина, как добрые, так и злые. Он был рьяным гонителем, о чем свидетельствуют квакеры, поминая его в своих историях в связи с проявленной им крайней жестокостью по отношению к женщине из их секты. Истории о страхе живут дольше любых воспоминаний о его благих делах, которых было не так уж мало. Его сын также унаследовал фанатичный характер и настолько посвятил себя истреблению ведьм, что можно откровенно признать: их кровь запятнала его. Запятнала настолько, что его сухие старые кости на кладбище Чартер-стрит должны до сих пор хранить ее след, если только не рассыпались в пыль, и я не знаю,



раскаялись ли мои предшественники, решились ли просить Небо простить их жестокость или же они теперь стонут под бременем последствий по иную сторону бытия. Так или иначе, я, ныне писатель, в качестве их представителя принимаю на себя всю вину и молюсь, чтобы любое заслуженное ими проклятие — насколько я слышал и насколько темно и беспросветно было состояние нашей семьи в течение многих лет, оно действительно могло существовать — отныне и впредь было снято.

Сомнительно, однако, что любой из тех упрямых и хмурых пуритан считал бы достаточной расплатой за свои грехи то, что много лет спустя старый ствол родового дерева, покрытый толстым слоем почтенного мха, закончится ветвью такого охламона, как я. Ни одна милая моему сердцу цель не была бы признана ими достойной, любой мой успех — если жизнь мою, помимо домашних дел, когда-либо озарял успех — они посчитали бы безделицей, если не полным позором. «Кто он такой?» — бормочет один серый призрак моего предка другому. «Писака выдуманных книг! Что это за дело всей жизни — чем он может прославить Бога или послужить человечеству его дней и его поколения? О, этот выродец мог с тем же успехом стать уличным скрипачом!» Вот какие комплименты доносятся до меня от моих прадедов через залив Времени, и все же, как бы они на меня ни злились, сильные стороны их натур плотно вплелись в мою.

Глубоко укоренившись стараниями упомянутых ревностных и энергичных мужчин еще в годы младенчества и детства этого города, семья с тех пор и проживала здесь; ни разу, насколько мне известно, ни один ее отпрыск не приносил позора. С другой стороны, редко, или же никогда, спустя первые два поколения, никто не отличился запоминающимися делами и едва ли был замечен обществом. Со временем члены моего рода почти скрылись из виду, как старые дома на местных улочках утопают почти до середины стен в просевшей от времени почве. От отца к сыну более сотни лет все они бороздили моря; седовласый капитан присутствовал в каждом поколении, и, когда он сходил с квартердека[2] в домашнюю гавань, мальчик четырнадцати лет уже занимал наследуемое место перед мачтой, встречая с открытым лицом ветер и соленые брызги, которые хлестали еще его дедов и прадедов. Мальчик с течением времени переходил с носового кубрика в кают-компанию, проводил в ней бурную зрелость и

возвращался из путешествий по миру, чтобы состариться, умереть и лечь в родную землю. Такая долгая связь семьи с одной точкой, с местом рождения и погребения, создает родство между человеческим существом и местностью, совершенно не подвластное никаким искушениям судьбы и моральным требованиям окружения. Это не любовь, это инстинкт. Новый житель (тот, кто либо сам приехал из чужой земли, либо же приехали его отец или дед) не имеет права называться салецем, он не обладает особенностью устрицы — тенденцией, по которой старый колонист, поверх которого нарастает третье поколение, цепляется за ту же точку, к которой крепились его последовательные предки. Не важно, что место это не приносит ему радости, что он устал от старых деревянных домов, от грязи и пыли, от мертвого пейзажа и мертвых чувств, от пронзительного восточного ветра и еще более холодной атмосферы в обществе, — все это, как и иные возможные недостатки, которые можно увидеть или представить, ничто по сравнению с его назначением. Заклятие живет, и мощь его не могла бы стать сильнее, даже будь родная земля истинным раем на земле. Так и в моем случае. Я чувствовал, что судьбой мне назначено всегда жить в Салеме, где сплетение черт внешности и характера, которые все это время были здесь знакомы и даже в детстве были во мне заметны и узнаваемы, поскольку, когда один представитель семьи ложился в могилу, второй занимал его место и шагал по главной улице. И все же именно это доказательство связи, уже нездоровой, пора пресечь. Человеческая природа не может процветать подобно картофелю, если ее сажать и пересаживать поколение за поколением в одну и ту же истощенную почву. Мои дети родились в иных местах и, пока их состояние под моим контролем, пустят корни в более подходящую землю.

На выходе из Старой Усадьбы именно эта странная, меланхоличная, безрадостная привязанность к родному городу побудила меня занять должность в кирпичной твердыне Дяди Сэма, в то время как я мог, и это было бы лучше, отправиться в иное место. Рок тяготел надо мной, и не раз, не два я отправлялся прочь, как мне казалось, навсегда, и все же возвращался, как неразменный пенни, или так, словно Салем был для меня неизбежным центром вселенной. Итак, однажды утром я поднялся по пролету гранитных ступеней, с президентским направлением в кармане, и был представлен собранию

джентльменов, которые должны были помочь мне нести мое тяжкое бремя главного чиновника таможи.

Я изрядно сомневался — точнее, я вообще не сомневался — в существовании в Соединенных Штатах должностного лица, в гражданской или военной их линии, которому досталась бы судьба отдавать указания настолько патриархальному собранию ветеранов. Стоило мне взглянуть на них, и я понял, где обитает Старейший Житель. Вплоть до двадцати лет до начала этой эпохи независимая должность коллектора хранила салемскую таможию от водоворота политических перемен, которые зачастую делают подобные должности слишком хрупкими. Солдат — самый выдающийся солдат Новой Англии — крепко стоял на пьедестале своей доблестной службы и, сам находясь в безопасности благодаря мудрой либеральности сменяющихся за время его службы правительств, смог защитить и своих подчиненных во многие часы опасностей и потрясений. Генерал Миллер был радикально консервативен, ничто не могло повлиять на него и смягчить его привязанность к знакомым лицам, и слишком сложно давалось ему решение о смене или замене, даже когда оно могло принести безусловное улучшение. Таким образом, когда я стал во главе своего департамента, я не встретил никого, кроме стариков. Все они были древними морскими капитанами. Большинство из них, побывав в штормах многих морей, упрямо выстояв перед всеми штормами судьбы, наконец отошли в эту тихую гавань, где почти ничто не беспокоило их, помимо периодических ужасов в виде выборов президента, и обрели новый жизненный срок. Ничуть не более крепкие, чем их сородичи того же возраста и здоровья, они, очевидно, обладали неким талисманом, способным удерживать смерть на дальних подступах. Двое или трое из них, как меня уверяли, страдали подагрой и ревматизмом, почти прикованными их к кровати, и даже не помышляли о том, чтобы появиться в таможе большую часть года. Однако стоило вялой зиме отступить, как они выползали под теплое солнце мая или июня, неторопливо занимались тем, что считали своими обязанностями, и, по указке собственной лени или совести, вновь отправлялись в постели. И я должен признать свою вину в том, что сократил официальное дыхание не одному из этих почтенных слуг республики. Им было позволено, и мною утверждено, отдохнуть от ревностного труда, и вскоре после этого — словно сам

принцип жизни их заключался в служении стране, во что я вполне верю, — они покидали не только службу, но и этот бранный мир. Благочестивым утешением мне служило то, что посредством моего вмешательства они получили возможность раскаяться в том зле и коррупции, соблазну которых, к слову, подвластны все чиновники таможи. Ни парадный, ни черный входы таможи не открываются на дорогу в Рай.

Большая часть моих подчиненных относилась к вигам[3]. Для их достойного братства назначение нового таможенного досмотрщика — не политика, и пусть он, в моем лице, был искренним демократом, он не принял и не посвятил свой офис никаким политическим службам. Случись все иначе — будь на эту влиятельную должность назначен активный политик и учитывая, как легко было справиться с досмотрщиком вигов, чье слабое здоровье не позволяло лично присутствовать в кабинете, — едва ли кто-то из старой их гвардии все еще дышал бы кабинетным воздухом спустя месяц после того, как по ступеням таможи поднялся бы карающий ангел. Согласно принятому в таких материях кодексу, для политика приведение всех белоголовых к гильотине считалось не чем иным, как прямым его долгом. И совершенно очевидно, старые друзья опасались, что та же участь постигнет их от моей руки. Мне было больно и в то же время забавно наблюдать ужас, с которым приняли мое появление, видеть, как покрытые щетиной щеки, избитые полувеком штормов, становятся пепельно-бледными при виде столь безобидного человека, как я; замечать, как ко мне обращается то один, то другой — и дрожь звучит в голосе, что в давно минувшие дни имел обыкновение хрипло греметь в рупор с силой, способной посрамить самого Борея. Они знали, эти замечательные старики, что, по всем принятым правилам — и, как считали некоторые из них, по причине их собственной бесполезности для дел, — всем им пора уступить место более молодым, более ортодоксальным в политике, более подходящим для службы нашему общему Дяде. Я тоже это знал, но не мог убедить свое сердце повиноваться этому разумному знанию. Внося свой дополнительный вклад в заслуженную мною дискредитацию и отягощая бремя на моей официальной совести, они продолжали в течение моего пребывания в должности медленно таскаться по верфям и ковылять то вверх, то вниз по лестнице таможи. Немалую часть времени они проводили во сне, в

своих привычных углах, однако пару раз в течение дня просыпались, чтобы надоедать друг другу стотысячным повторением старых морских историй и заплесневелых анекдотов, которые в их компании давно стали чем-то наподобие пароля и отзыва.

Вскоре, насколько я понял, им стало понятно, что личность нового досмотрщика не несет им особой угрозы. Потому с легким сердцем и счастливым осознанием того, что они сохранили должность — ради самих себя, по крайней мере, если не ради службы нашему любимому отечеству, — эти старые добрые джентльмены взялись за разнообразные формальности чиновничьей работы. Дальнозорко щуря глаза под очками, они заглядывали в трюмы судов. Поднимали огромный шум из-за мелочей и при этом порой поражали тем, как эти мелочи позволяли гораздо большему просочиться сквозь пальцы. Всякий раз, когда происходила подобная потеря — к примеру, огромная партия ценного товара контрабандой сгружалась на берег среди белого дня, порой под самым их ничего не учуявшим носом, — они проявляли невероятную бдительность и рвение, закрывая, запирая и опечатывая бечевой и воском все переходы провинившегося судна. Вместо взыскания за их предыдущий просчет дело начинало принимать противоположный оборот: требовалось вознаграждение за похвальную бдительность после того, как произошло преступление, и благодарное признание за их активность, которая уже совершенно ничего не могла исправить.

Если с людьми смириться не сложнее обычного, я проявляю свою глупую привычку доброго к ним отношения. Лучшая часть характеров моих компаньонов, если таковая имелась, обычно замечалась мной прежде всего, и в соответствии с ней строилось мое к ним отношение. В характерах большинства этих старых таможенных чиновников хорошие качества встречались, и, поскольку в отношении к ним я занял отеческую позицию защитника, что было прекрасной основой для дружеских связей, вскоре я понял, что они мне нравятся. Было приятно в летние дни — когда яростная жара, почти что плавящая остатки рода человеческого, могла немного разогреть престарелую отопительную систему их тел, — слушать, как они переговариваются у черного входа, откинув спинки стульев к стене, как обычно; как тают ледники шуток прошлого поколения и оживают булькающим смехом на их губах. Внешне радость престарелых людей весьма сходна с

весельем детей и имеет мало общего с интеллектом и глубоким чувством юмора: она как светлый блик на поверхности, с той лишь разницей, что поверхность та может быть и зеленым побегом, и старым замшелым стволом. И в одном случае этот свет — истинно солнечный, в другом же он больше похож на фосфоресцирующее свечение гнилушки. Однако было бы нечестно с моей стороны представлять читателю моих прекрасных старых друзей лишь слабоумными стариканами. Прежде всего не все мои помощники были в годах, встречались среди них и мужчины в расцвете сил, одаренные и энергичные, во всем превосходящие медлительный и зависимый стиль жизни, который предопределили им злые звезды. Более того, и под почтенными сединами порой обнаруживался отлично работающий разум. Но при всем уважении к большинству моего корпуса ветеранов я не погрешу против истины, охарактеризовав их в целом как сборище утомительных стариков, которые не вынесли из своего богатого жизненного опыта ничего, что было бы достойно сохранения. Они, казалось, развеяли по ветру все золотые зерна практической мудрости, которые у них было столько возможности собрать, и с превеликой тщательностью собрали в закрома своей памяти только половину. С куда большим интересом и горячностью они обсуждали свои утренние завтраки, равно как вчерашние, сегодняшние, завтрашние обеды, чем кораблекрушение сорока-или пятидесятилетней давности, или те чудеса света, которые наблюдали своими молодыми глазами.

Отец всея таможни — патриарх не только небольшой команды чиновников, но и, осмелюсь сказать, уважаемого общества таможенных инспекторов всех Соединенных Штатов, — был вечным Инспектором. Его можно было смело определить как законного сына системы налогообложения, дистиллированного, прирожденного чиновника; его отец, полковник Революции и бывший инспектор порта, создал для него этот кабинет и назначил сына на должность в такие давние времена, что мало кто из живущих способен их припомнить. Этот инспектор, когда я впервые с ним познакомился, уже пересек рубеж восьмидесятилетия и был одним из ярчайших представителей вечнозеленых столпов, которые только можно повстречать на жизненном пути. С его пунцовыми щеками, коренастой фигурой в ладно скроенном синем камзоле с ярко начищенными пуговицами, с быстрым шагом, крепким и бодрым духом, он казался

— хоть и не молодым, конечно, — новым замыслом матери Природы, облеченным в форму человека, которого не смеют коснуться ни возраст, ни болезни. Его голос и смех, эхо которого постоянно гремело по всему зданию таможни, не обладали ни намеком на дрожь и квохтание, присущие старикам; они вылетали из его легких, как утренний клич петуха, как призыв горна. Рассматривая его как обычное животное — а рассмотреть в нем нечто большее было сложно, — можно было восхититься объектом, полноценностью его здоровья, цельностью рабочей системы, его способностью в своем преклонном возрасте добиваться всех или почти всех удовольствий, к которым он стремился и о которых задумывался. Беспечная безопасность его жизни в таможне, при регулярном доходе, с незначительными и нечастыми опасениями отставки, без сомнения, внесла свой вклад в отсутствие оставленного временем следа. Изначальные и более сильные причины, однако, заключались в редком совершенстве его животной природы, умеренной пропорции интеллекта и крайне пустячной доле моральных и духовных ингредиентов. Эти, последние, качества поистине присутствовали в столь малой мере, что их едва хватало для удержания старого джентльмена от прогулок на четырех конечностях вместо двух. Он не обладал ни силой мысли, ни глубиной чувства, не имел беспокоящих его уязвимостей: ничего, выражаясь вкратце, помимо нескольких распространенных инстинктов, которые, в сочетании с бодростью характера, проистекающей из физического благополучия, отлично справлялись с работой по замене его несуществующего сердца. Он был мужем трех жен, давно уже почивших, отцом двадцати детей, большинство которых в разные годы, от младенчества до зрелости, также упокоились с миром. В этом кто-то мог бы познать печаль, достаточную, чтобы затмить самый солнечный характер неизбывной вуалью траура. Но только не старый Инспектор. Одного краткого вздоха хватало ему, чтобы избыть бремя тяжелых воспоминаний. И в следующий миг он уже был готов к новым свершениям, как любой непосредственный подросток: готов куда вернее, чем младший клерк таможни, который в свои девятнадцать казался куда старше и мрачнее упомянутого.

Я наблюдал за этим патриархальным персонажем, я изучал его с любопытством, пожалуй, большим, чем вызывал у меня любой другой

представитель рода людского, попавший в оном месте в поле моего зрения. Он был поистине редким феноменом: буквально идеальным, с одной точки зрения, и неимоверно поверхностным, бредовым, непостижимым и ничтожным — с любой другой. Я пришел к выводу, что у него не было ни души, ни сердца, ни разума, ничего, как я уже говорил, помимо инстинктов; и все же, те немногие материалы, составлявшие его характер, были скомпонованы так искусно, что не создавали впечатления болезненной неполноценности, наоборот, я, со своей стороны, был им доволен. Было бы сложно — да так оно и было — представить себе его посмертие, настолько земным и чувственным он казался. Но наверняка его существование здесь, даже с признанием, что он будет уничтожен с последним своим вздохом, не было жестоким даром; обладая моральной ответственностью не большей, нежели дикие твари, он мог наслаждаться жизнью куда полнее животных, благословенных их же иммунитетом к дряхлению и сумеречности возраста.

Одним из пунктов, в которых он обладал безграничным преимуществом перед нашими четвероногими друзьями, была его способность вспомнить все вкусные обеды, случившиеся в его жизни, ведь огромную часть его счастья в жизни составляла именно еда. Его гурманство было весьма приятно, а его рассказы о жареном мясе возбуждали аппетит не хуже пикулей или устриц. Лучшими качествами он не обладал, следовательно, не жертвовал и не развеивал никаких душевных фондов, посвящая все свои силы и мастерство описаниям радостей и пользы для своей утробы, а потому мне всегда было приятно слышать, как он воспевает рыбу, птицу и мясо с бойни, а также самые лучшие методы их приготовления. Его воспоминания о доброй трапезе, какой бы давней ни была дата банкета, казалось, буквально вызывают ароматы свинины и индейки под самый нос слушателя. Вкусы на его небе оставались не менее шестидесяти, а то и семидесяти лет и сохраняли свежесть не хуже бараньей котлеты, которую он проглотил сегодня на завтрак. Я слышал, как он чмокает губами за обедами, каждый гость которых, кроме его самого, давно уж сам стал обедом могильных червей. Поразительно было наблюдать, как призраки давно прошедших трапез последовательно возникают перед ним — не из злобы и жажды мести, а в благодарность за прошлую его признательность, отказывающуюся расставаться с



бесконечным повторением удовольствий, одновременно смутных и осязаемых. Нежнейший ростбиф, телячья лопатка, свиные ребрышки, выдающийся цыпленок или в высшей степени достойная похвалы индейка, попавшие в его чрево еще в дни жизни старейшины Адамса, вспоминались им ярко, в то время как весь последовательный опыт нашего рода и все события, что озаряли и омрачали его собственную карьеру, пролетали мимо него, оставляя следов не больше, чем легкий утренний бриз. Главным трагическим событием в жизни почтенного старика, насколько я мог судить, была его несчастливая встреча с неким гусем, жившим и погибшим примерно от двадцати до сорока лет назад: гусем, который был весьма многообещающ, но на столе оказался столь неисправимо жестким, что разделочный нож не справился с его остовом, и разделать птицу смогли лишь топор и ручная пила.

Но время закончить этот набросок, которому я, однако, с радостью отвел бы больше места, поскольку из всех, кого я когда-либо знал, этот человек лучше всех отражал суть работника таможни. Большинство иных по причинам, на которые у меня может не остаться места намекать, страдали определенными моральными недостатками от того же стиля жизни. Старый Инспектор был на это неспособен и, продолжай он свою работу до конца времен, остался бы столь же хорош, как тогда, и садился бы за обеденный стол с тем же прекрасным аппетитом.

Существовал еще один персонаж, без которого моя портретная галерея таможни была бы странно неполной, но слишком малое количество возможности наблюдений позволяет мне создать лишь бледный его набросок. Это наш Сборщик, наш бравый старый Генерал, который после блестящей военной службы, вследствие которой правил дикой Западной территорией, прибыл сюда двадцать лет назад, чтоб встретить закат своей богатой событиями почетной жизни.

Бравый солдат уже отсчитал около семи десятков лет и шествовал остаток жизненного пути отягощенный болезнями, которых даже военные марши его вдохновенных воспоминаний не имели возможности облегчить. Шаг того, кто привык возглавлять колонны, был испорчен параличом. Лишь при помощи слуги, тяжело опираясь рукой на железную балюстраду, он мог медленно и болезненно

подняться по ступеням таможни, а затем проделать утомительный путь по полу, чтобы занять свое личное кресло у камина. Там он обычно и сидел, глядя с тусклым спокойствием духа на фигуры входящих и уходящих, слушал шорох бумаг, административную брань, обсуждение дел, обычную кабинетную болтовню; все обстоятельства и звуки, похоже, не могли повлиять на органы его чувств и едва ли достигали внутренней сферы сознания. Выражение лица его в этом спокойствии оставалось мягким и добродушным. Когда кто-то искал его внимания, вежливость и интерес озаряли его черты, доказывая, что в нем сохранился свет, и лишь внешняя оболочка лампы его разума мешает распространению этих лучей. Чем ближе вы проникали к субстанции его разума, тем ярче вам это казалось. Когда его больше не призывали к разговору и слушанию — каждое из этих действий стоило ему значительных усилий, — его лицо быстро возвращалось к прежнему, отнюдь не безрадостному спокойствию. Выдержать это зрелище было несложно, в нем не проглядывало слабоумие, свойственное ветхому возрасту. Каркас его натуры, изначально сильный и массивный, еще не превратился в руины.

Однако пронаблюдать и определить его характер, при наличии подобных недостатков, было задачей столь же сложной, как исследовать и воссоздать в воображении старый форт, ту же Тикондерогу, глядя на ее серые руины. Здесь и там, возможно, стены сохранились почти что в целости, но в иных местах они превратились в бесформенную кучу камней, рухнув под собственным весом, и за долгие годы мира и забвения густо поросли травой и сорняками.

И все же, глядя на старого воина с восхищением — при всей краткости нашего с ним общения, чувства мои к нему, как всех двуногих и четвероногих, что знали его, вполне могли характеризоваться именно этим словом, — я мог различить основные черты его портрета. Он был отмечен благородными и героическими качествами, которые проявлялись не по воле случая, а по праву, именно благодаря им он заслужил выдающееся имя. Дух его никогда, насколько я понимаю, не пребывал в подавленном состоянии, но, должно быть, в любой период его жизни требовался импульс, чтобы привести этот дух в движение, однако стоило ему вскинуться, увидеть преграды на пути и желанную цель в конце, на остановки или отступление он не шел — это ему не было свойственно. Жар, в

прежние времена наполнявший его натуру и до сих пор не угасший, относился не к тому типу, что пляшет, мерцает и плюется искрами; то был глубокий алый свет раскаленного в горне металла. Сила, надежность, цельность — таково было выражение его покоя, несмотря на разрушения, несвоевременно овладевавшие им в тот период, о котором я говорю. Но даже тогда я мог представить, что, стоит какому-то побуждению проникнуть глубоко в его сознание призывом трубы, достаточно громким, чтобы пробудить в нем все еще не угасшие, а лишь уснувшие силы, и он еще будет способен отбросить свою немощь, как больной отбрасывает халат, сменить посох старости на боевой меч и вновь превратиться в воина. И, при всей напряженности упомянутого момента, выражение его лица останется столь же спокойным. Впрочем, портрет его не был бы роскошен, не вызывал бы ни восхищения, ни желания заполучить его в галерею. То, что я видел в нем — так же ясно, как несокрушимые крепостные стены старой Тикондероги, уже упоминавшиеся в качестве подходящего сравнения, — было чертами упрямого и тяжелого долготерпения, которое вполне могло накопиться во времена упорства в его прежние дни; цельности, которая, как и большинство иных его способностей, лежала неподъемным грузом и была столь же нековкой и громоздкой, как тонна железной руды. А также милосердия, которое, при всей ярости, с которой он вел штыковую атаку при Чиппева или форте Эри, я воспринимаю искренним, ведь этим штампом отмечен почти любой воинственный филантроп того века. Он убивал собственными руками, насколько я знаю, — и наверняка люди падали, как трава под свистящей косой, прежде чем его дух распрощался с торжествующей силой, — но при этом в сердце его никогда не было жестокости к миру, жестокости большей, чем та, с которой мы смахиваем надоедливую мотылька. Я не знал человека, чья внутренняя доброта вызвала бы во мне бо́льшую внутреннюю расположенность.

Многие особенности, даже и те, что были бы в немалой степени важны для придания наброску портретного сходства, наверное, исчезли или поблекли до моего знакомства с Генералом. Все привлекательные черты отличаются недолговечностью, и природа не склонна украшать человеческие руины цветами новой красоты, которые пускают корни в питательный грунт трещин и разломов человеческой натуры, как склонна увивать цветами стены

разрушенного форта Тикондероги. И все же, при всем почтении к грации и красоте, есть те черты, что не подвластны тлену. Луч веселья, временами пробивающийся сквозь плотную вуаль старения, чтобы озарить прелестью наши лица. Врожденная утонченность, столь редко видимая в мужественных людях после поры их детства и ранней юности, проглядывала в том, как генерал восхищался красотой и изяществом цветов. От старого солдата можно было бы ожидать восхищения разве что кровавым лавровым венком на челе, но он был тем, кто отличался почти девичьей влюбленностью в цветущее племя.

Там, у камина, бравый старый Генерал обычно и восседал, в то время как Досмотрщик — хоть и избегая при всякой возможности тяжелой задачи по вовлечению его в разговор, — любил стоять в отдалении и наблюдать за его тихим, почти сонным ликом. Он, казалось, так далек от нас, хоть мы и проходили совсем рядом с его креслом; недостижим, хотя можно было протянуть руку и коснуться его. Возможно, он в своих мыслях жил более реальной жизнью, чем та, что протекала в столь неподходящем ему окружении таможенного кабинета. Прохождение парадов, шум брани, переливы старой героической музыки, услышанной тридцать лет назад, — эти сцены и звуки, возможно, до сих пор были живы в его разуме. А в это время купцы и капитаны, юные клерки и потрепанные матросы входили и выходили, суматоха коммерции и таможенной жизни бурлила и бормотала вокруг него, но ни люди, ни их дела не имели, казалось, ни малейшего отношения к старому Генералу. Он был неуместен так же, как старый меч — уже проржавевший, но когда-то блиставший на поле боя и до сих пор сохранивший яркий свет на лезвии, — среди чернильниц, подшивок бумаг и линеек из красного дерева, что царили на столе заместителя Сборщика.

И было одно, что изрядно помогло мне восстановить и воссоздать стойкого солдата с ниагарского фронта — человека простого и искреннего. То было воспоминание о его знаменитых словах «Я попытаюсь, сэр», сказанных на грани отчаянного и героического предприятия, пронизанных душой и духом новоанглийской дерзости, способной преодолеть все преграды и добиться всего. Если бы в нашей стране доблесть вознаграждалась геральдическими отличиями, эта фраза — которую, казалось, так просто произнести, но на которую, перед лицом задачи настолько опасной и почетной, решился лишь он,

— стала бы лучшим и самым подходящим девизом для щита и герба Генерала. Моральному и интеллектуальному здоровью человека крайне полезно привыкать к компании личностей, крайне на него не похожих, мало обеспокоенных его стремлениями, тех, чью сферу деятельности и способности он может оценить, лишь преодолев грани своих привычек. Различные случаи в моей жизни зачастую одаривали меня подобным преимуществом, но никогда еще более полно и разнообразно, как во времена моего пребывания на должности.

Был там, к примеру, один человек, наблюдение за характером которого дало мне новое понимание идеи таланта. Его одаренность была сходна с качествами тех, кто занимался делами. Он был быстр, точен, обладал ясным разумом и острым взглядом, который видел насквозь все затруднения и одновременно все способы заставить их испариться как по мановению волшебной палочки. Выросший в таможене, он в совершенстве овладел тонкостями этой деятельности, и многие сложности ведения дел, изматывающие чужака, для него самого являлись привычными проявлениями понятной системы. Я рассматривал его как идеального представителя его класса. Он был поистине олицетворением самой таможни, или, в любом случае, ходовой пружиной, которая приводила в движение все вращающиеся вразной шестеренки. Для учреждения, подобного нашему, куда чиновники назначаются служить собственной выгоде и удобству и редко с учетом того, подходят ли они для работы на должности, им не остается ничего другого, кроме как искать в других те умения, которых сами они лишены. Таким образом, с той же неотвратимой силой, с которой магнит притягивает стальную стружку, наш человек дела притягивал к себе все трудности, с которыми сталкивались остальные. С легкой снисходительностью и определенной терпимостью к нашей глупости, которую, согласно его складу ума, он наверняка считал почти преступлением, он легким прикосновением пальца делал непостижимое ясным, как солнечный день. Купцы ценили его не меньше, чем мы, его посвященные друзья. Честность его была идеальной, она для него являлась скорее законом природы, нежели выбором или принципом; да и невозможно было обладателю настолько выдающегося интеллекта не обладать предельной точностью и добросовестностью в исполнении своих обязанностей. Пятно на совести, касающееся чего угодно в сфере его должности, беспокоило

бы подобного человека точно так же, если не в большей степени, как беспокоила бы ошибка в балансе счета или чернильная клякса на чистой странице учетной книги. Здесь, к слову, — что можно назвать редкостью в моей жизни, — я познакомился с человеком, наиболее соответствующим занимаемому положению.

Таковыми являлись и некоторые из тех, с кем я оказался связан. Я благосклонно принял из рук провидения то, что был назначен на должность столь чуждую всем моим прошлым привычкам, и со всей серьезностью решил извлечь из ситуации всю возможную пользу. После моего товарищества с изнурительным трудом и невыполнимыми планами в компании мечтательных собратьев с фермы Брука, после трех лет жизни под влиянием интеллекта Эмерсона; после тех диких свободных дней в Ассабете, где я предавался фантастическим дискуссиям, которые мы вели у костра из еловых ветвей с Эллери Чаннингом; после разговоров с Торо о соснах и индейских реликвиях в его отшельническом приюте в Уолдене; после растущей прихотливости вкуса, рожденного симпатией к классической утонченности культуры Хилларда; после того, как у очага Лонгфэллоу я проникся поэтическими сантиментами, — то было время, и длительное, когда я должен был упражнять другие свои способности, питаться пищей, к которой я до тех пор не испытывал ни малейшего аппетита. Даже старый Инспектор был желанен в качестве смены диеты — для человека, который знал Олкотта[4]. Я смотрел на это как на своего рода доказательство, что натура моя от природы хорошо сбалансирована и ей хватает всех жизненно важных частей, раз уж, с подобными воспоминаниями о подобных друзьях, я могу сразу же смешаться с людьми совершенно противоположных качеств и никогда не роптать на перемену.

Литература, с ее влиянием и темами, в те времена почти не достаивалась моего внимания. В тот период я не увлекался книгами, они существовали отдельно от меня. Природа — помимо сугубо человеческой природы, — природа, что разворачивалась в небе и на земле, была в определенном смысле скрыта от меня; и все радости воображения, связанные с духовными аспектами, проходили мимо моего разума. Одаренность, искусство если и не покинули меня, то застыли внутри без признаков жизни. Было нечто печальное, нечто невыразимо жуткое во всем этом, не будь у меня осознания, что я могу

в любой момент вынуть из прошлого все, что было мне дорого. Возможно, истиной было бы утверждение, что подобную жизнь нельзя без ущерба жить слишком долго, ведь иначе она могла бы навсегда изменить мою суть, не меняя формы, отпущенной мне в этой жизни. Но я никогда не считал тот период не чем иным, нежели временным жизненным этапом. Всегда присутствовал провидческий инстинкт, тихо шепчущий мне на ухо, что вскоре, какими бы ни были изменения, они пойдут мне на пользу.

А в то время я являлся таможенным инспектором по доходам, и, насколько я понимал, не худшим, чем требовалось. Человек, наделенный мышлением, воображением и восприимчивостью (пусть даже в мере, десятикратно превосходящей пропорции обычного инспектора), мог в любое время стать человеком дела, будь в нем желание оным делом заняться. Мои собраты чиновники, как и купцы с морскими капитанами, с которыми сводили меня должностные обязанности, видели меня именно в этом свете и наверняка не представляли меня иным. Никто из них, смею предположить, никогда не читал и страницы моих произведений и ничуть не изменил бы отношения, прочти их все; не изменилось бы ничто, будь те же неприбыльные страницы написаны пером Бернса или Чосера, каждый из которых был в свое время работником таможни, как и я. То был хороший урок — хотя зачастую и нелегкий — для человека, мечтавшего о литературной славе, желавшего добиться места среди мировых знаменитостей своими творениями, выйти из узкого круга, в котором его заявления учитывались, и обнаружить, насколько на самом деле не хватает ему значимости вне этого круга, как все его достижения и все, на что он был нацелен. Не знаю, действительно ли мне очень был нужен такой урок, одновременно предупреждающий и укоряющий, но, так или иначе, я хорошо его выучил: усвоенная истина, пустившая корни в мое сознание, пришла болезненно, но не вызвала желания отбросить ее с глаз долой. Что же касается бесед о литературе, морской офицер — отличный парень, который пришел в кабинет со мной и вышел лишь немногим позже, — зачастую вовлекал меня в дискуссию по той или иной своей любимой теме, от Наполеона до Шекспира. Младший помощник инспектора, слишком уж юный джентльмен, судя по шепоткам, время от времени покрывал листок для официальных писем Дяде Сэму тем, что (с расстояния в несколько

ярдов) выглядело весьма похоже на стихи — тоже говорил о книгах как о материях, в которых я вполне могу оказаться сведущ. Тем и исчерпывалось все мое взаимодействие с письмом, и для моих нужд того было вполне достаточно.

Я больше не беспокоился и не стремился к тому, что мое имя должно блистать на титульных страницах по всему миру, я улыбался мысли о том, что ныне оно отправляется в совсем иное путешествие. Таможенная печать с моим именем, благодаря трафарету и черной краске, оставалась на бумажных пакетах, на корзинах с аннато, коробках сигар и всевозможных тюках с товарами, подлежащими уплате пошлин, подтверждала, что таможенная пошлина за них уплачена и добросовестно прошла мой кабинет. Знание о моем существовании, насколько имя отражало его, несло на этой странной колеснице славы туда, где никогда не бывало раньше и, надеюсь, более не побывает.

Но прошлое не было мертво. Изредка мысли, которые казались столь живыми и деятельными, но отошедшие тихо отдохнуть, оживали снова. Одним из самых примечательных случаев, когда привычка давно минувших дней проснулась во мне, был тот, что привел, по закону литературной пристойности, к предложению публике того самого очерка, который я сейчас пишу.

На втором этаже таможни находится большая комната, в которой кирпичная кладка и голые стропила так и не были покрыты обшивкой и штукатуркой. Здание — изначально спроектированное с расчетом размера для старого коммерческого развития порта и с мыслью о дальнейшем процветании, которому не суждено было сбыться, — таило в себе куда больше пространства, чем могли вдумчиво использовать его новые обитатели. Этот просторный холл, находившийся, понятно, над кабинетом Коллектора, оставался незавершенным и по сей день и, несмотря на фестоны паутины, свисавшие с потемневших балок, до сих пор, казалось, ждал внимания каменщика и плотника. В одном конце комнаты, в нише, множество бочек было уложено в штабель. В них хранились связки документов. Огромное количество подобного мусора усеивало и пол. Печально было думать о том, сколько дней, и недель, и месяцев, и лет работы было потрачено на эти затхлые листы, которые теперь лишь занимали место и были спрятаны в этом забытом углу, чтобы никогда более не



предстать перед людским взором. Однако какие же груды иных рукописей — заполненных не скукой официальных формальностей, но мыслями изощренных разумов, вложенными в них потоками глубинных чувств, — точно так же исчезли в забвении; более того, в свое время не послужили никакой цели, в отличие от громоздящихся здесь бумаг, а что еще печальнее, не принесли своим авторам комфортной жизни, которую обеспечили себе таможенные клерки посредством своих бесполезных каракулей. Впрочем, для местной истории эти материалы не были совсем уж бесполезны. Здесь, без сомнения, таилась статистика былой торговли Салема, мемориалы ее великолепных купцов — старого Короля Дерби, старого Билли Грея, старого Саймона Форрестера и многих других магнатов своего времени, чьи напудренные головы едва успевали упокоиться в могиле, как накопленное богатство начинало таять. Основателей большей части семей, которые ныне составляют аристократию Салема, можно отследить здесь от самого безденежного и скромного начала их пути, в периоды последовавшей Революции и вплоть до того, что их дети считают давно установившимся рангом.

Записей, относящихся к периоду до Революции, не так уж много, более ранние документы и архивы таможи наверняка были увезены в Галифакс, когда все королевские чиновники присоединились к британской армии, удирая из Бостона. Это часто являлось причиной моих сожалений, поскольку, вернувшись назад, даже ко временам протектората, и проследив бумаги, можно было бы найти множество упоминаний о забытых или прославленных людях, старинных досмотрах, которые могли бы доставить мне удовольствие не меньшее, чем я испытывал, подбирая наконечники индейских стрел в поле у Старой Усадьбы.

Однако в один из праздных дождливых дней мне повезло обнаружить находку, представляющую собой некий интерес. Перебирая и раскапывая стопки мусора в углу, разворачивая один документ за другим, читая названия судов, давным-давно ушедших на дно морское или сгнивших у верфей, и имена купцов, о которых никто не слышал на современной Бирже, не вполне различимые теперь даже на их замшелых могильных камнях; проглядывая их с тем же печальным, усталым, почти неохотным интересом, которым мы награждаем трупы давно почившей деятельности (упражня тем

самым свое воображение, неловкое из-за долгого неиспользования, в попытках поднять из этих сухих костей цветущий образ старых городов тех времен, когда Индия была новым регионом и только Салем знал пути туда), я наткнулся на маленький аккуратный сверток древнего пожелтевшего пергамента. Этот конверт хранил дух официального отчета давнего прошлого, когда клерки украшали своими четкими формальными почерками куда более солидные материалы, чем в настоящем. В нем было нечто, что усилило мой инстинктивный интерес и заставило развязать поблекшую красную ленту, которой был перевязан пакет, с ощущением, что я вот-вот открою свету сокровище. Развернув заскорузлый пергамент обертки, я понял, что она состоит из офицерского патента, заверенного подписью и печатью губернатора Ширли и выданного Джонатану Пайну, наделяя того полномочиями таможенного досмотрщика Его Величества в порту Салем, гавани провинции Массачусетс. Я припомнил, что читал (наверное, в «Анналах» Фелта) упоминание о кончине мистера досмотрщика Пью восемьдесят лет назад и в недавней газете статью о том, что во время обновления церкви Святого Петра его останки были выкопаны для перезахоронения. Ничего, если я правильно помню, не осталось от моего уважаемого предшественника, за исключением ветхого скелета, нескольких фрагментов платья и потрясающего парика, сохранившегося вполне удовлетворительно, в отличие от головы, которую он некогда украшал. Но, проглядывая бумаги, конвертом для которых служил пергамент патента, я нашел больше следов мысленной работы мистера Пью и узнал о работе его разума больше, чем сбереглось частей почтенного черепа в остатках напудренного парика.

Если вкратце, это были документы не официального, а личного характера или, по крайней мере, написанные им в меру собственных способностей и желания, судя по всему, собственноручно. Тот факт, что они оказались в груди старого таможенного хлама, я могу объяснить лишь тем, что смерть мистера Пью оказалась внезапной и эти бумаги, которые он, скорее всего, держал в своем рабочем столе, не были известны его наследникам или же имели какое-то отношение к сбору пошлин. Во время перевозки архивов в Галифакс этот пакет, как не имеющий официальной ценности, был оставлен здесь и с тех пор лежал нераспечатанный.

Древний досмотрщик — будучи, полагаю, слегка испорчен малым количеством дел, поступающих в кабинет, — похоже, посвящал некоторую часть свободного времени исследованию местных древностей и другим изысканием схожей природы. Это служило материалом для оживления разума, который иначе давно покрылся бы ржавчиной.

Часть собранных им фактов, к слову, сослужила мне добрую службу в подготовке статьи «ГЛАВНАЯ УЛИЦА», включенной в этот том. Они же, возможно, могут впоследствии послужить цели столь же ценной и быть вложены, насколько позволяют факты, в историю Салема, если только мое почитание родной земли когда-либо подвигнет меня на столь благочестивую задачу. Пока же они отправятся в распоряжение любого джентльмена, достаточно компетентного и желающего избавить меня от упомянутого невыгодного труда. В качестве финального места их расположения я рассматриваю Историческое Общество Эссекса. Однако объект, который более всего привлек мое внимание к загадочному свертку, являлся лоскутом алой ткани, довольно потрепанным и поблекшим. На нем сохранились следы золотой вышивки, которые, однако, так истрепались и вылиняли, что в них почти не осталось намека на былой блеск. Вышивка свидетельствовала, и это сразу становилось заметно, о выдающемся таланте работающего иглой, а стежки (как меня заверили леди, посвященные в тайны подобного) служили доказательством ныне забытого искусства, которое не открыть заново даже в процессе разбора старых нитей. Этот клочок алой ткани, который время, дряхлость и непочтительная моль превратили в самую обычную тряпку, при внимательном рассмотрении повторял форму буквы.

Это была заглавная буква «А». При точном измерении каждая ножка ее в длину составляла ровно три дюйма с четвертью. Предназначалась она, без сомнения, в качестве декоративной детали платья, но как ее носили, какой ранг, честь, достоинство прошлых времен отмечалось ею, было загадкой, разгадку которой (настолько недолговечны причуды моды в нашем мире) я считал безнадежной. И все же она до странного интересовала меня. Я буквально не мог отвести взгляд от старинной алой буквы. Наверняка в ней было некое глубинное значение, более чем достойное интерпретации, которое, как

мне казалось, источала сама загадочная буква, тонко воздействуя на мои чувства, но не поддаваясь рассудочному анализу.

Сбитый с толку странными ощущениями и размышляющий в том числе и о том, что буква могла быть одним из украшений, которые использовались белыми людьми для привлечения внимания индейцев, я приложил букву к своей груди. И мне почудилось — читатель может улыбнуться, но не стоит сомневаться в моих словах, — мне почудилось, что я ощущаю нечто не вполне физическое, но на грани того, опаляющий жар, словно буква была не из алой ткани, а из докрасна раскаленного железа. Я содрогнулся и непроизвольно уронил ее.

Поскольку все мое внимание поглотила алая буква, я не обратил внимания на маленький сверток выцветшей бумаги, вокруг которого она была обернута. Открыв его, я с удовольствием обнаружил записанное пером старого досмотрщика довольно полное объяснение всего дела. Там были несколько листов писчей бумаги, покрытых записями с детальным рассказом о некой Эстер Принн, которая была довольно примечательной персоной у наших предков. Расцвет ее жизни пришелся на период между ранними днями Массачусетса и концом семнадцатого столетия. Престарелые господа, жившие во времена мистера досмотрщика Пью и с чьих устных воспоминаний он создал свой рассказ, помнили ее по дням своей юности: помнили очень старой, но не одряхлевшей женщиной, величавой и добропорядочной. Ее привычкой почти что с незапамятных времен были походы по округе в качестве добровольной сиделки. Она приносила людям много добра, в том числе взяла на себя бремя советницы по самым различным вопросам, особенно в делах сердечных. И ее судьба оказалась неизбежной для людей подобных склонностей: у многих, для кого она была добрым ангелом, она обрела благодарное к себе отношение. Другие же, смею представить, видели в ней помеху и назойливую чужачку. Вчитываясь далее в рукопись, я нашел записи о делах и страданиях этой исключительной женщины, о большей части которых читатель узнает из моей истории «Алая буква». Следует постоянно помнить, что основные факты той истории подтверждены и заверены документом мистера Пью. Оригинальные бумаги, вместе с самой алой буквой — наиболее интересной моей реликвией, до сих пор в моем распоряжении и будут свободно предъявлены любому, кто

заинтересуется ими и пожелает их увидеть. Но не стоит воспринимать это так, как будто в процессе написания истории, представляя себе мотивы и проявления страсти, повлиявшие на описанных в ней персонажей, я оставался строгим старым инспектором на шести пожелтевших листах. Напротив, я позволил себе до определенной, даже значительной степени, вольные интерпретации, переплетая реальные факты с собственным воображением. Придерживался я лишь аутентичности внешних абрисов.

Этот инцидент вернул меня до некоторой степени на старый путь. Похоже было, что я обнаружил фундамент новой истории. Что впечатлило меня так, словно сам древний досмотрщик, одетый по моде, ушедшей уже век назад, в своем бессмертном парике, похороненном с ним, но не истлевшем в могиле, предложил мне договор в той пустой зале таможни. В его осанке сквозило достоинство того, кто получил должность от Его Величества и кто, следовательно, был отмечен лучом величия, что ослепительно сияло с трона. Как, увы, отличался жалкий вид республиканского чиновника, который, как слуга народа, ощущал себя менее чем никем, ниже самого захудалого своего начальства. Своей призрачной рукой, полупрозрачная, но величественная фигура представила мне алый символ и маленький сверток объяснявшей его рукописи. Призрачным же своим голосом он призывал меня, основываясь на святости сыновнего долга и моего почтения к нему — тому, кто вполне мог представлять себя моим официальным предком, — донести до публики его заплесневелую и изъеденную молью литературную попытку. «Сделай это, — говорил мне призрак досмотрщика Пью, с симпатией кивая головой, которая казалась такой внушительной в его незабываемом парике, — сделай это, и прибыль будет только твоей. Вскоре она тебе понадобится, поскольку в твои дни, в отличие от моих, должность не дается до конца жизни, а зачастую и в наследство. Что до меня, то пошлюной я взимаю за то, что ты расскажешь о старой мистрис Принн, увековечивание имени и памяти своего предшественника, что будет вполне правомерно». И я ответил призраку досмотрщика, мистера Пью: «Я так и сделаю».

Теперь я немало размышлял над историей Эстер Принн. Она была предметом моих многочасовых медитаций, в которые я погружался, меряя шагами свой кабинет, либо же в которую сотню раз проделывая

длинный путь от главного входа в таможеню до бокового и обратно. И велики были усталость и недовольство старого Инспектора, весовщиков и обмерщиков, чью дрему немилосердно прерывал стук моих шагов — то туда, то обратно. Припоминая свои собственные былые привычки, они говорили, что досмотрщик ходит по квартердеку. Они наверняка считали, что единственная моя задача — ведь, поистине, это единственная задача, ради которой разумный человек может совершать добровольный моцион, — это нагулять аппетит перед обедом. И, говоря по правде, аппетит, обостренный восточным ветром, обычно дувшим во время моих походов, был единственным ценным результатом неустанных моих упражнений. Изысканные плоды воображения и чувственности настолько не желали поспевать в атмосфере таможи, что, останься я там на грядущие десять смен президентов, «Алая буква» никогда не предстала бы перед глазами читателей. Зеркало моего воображения потемнело. Оно не отражало иначе как с тусклой неразборчивостью ни одну из фигур, которую я изо всех сил старался себе представить. Характеры и сюжет ничуть не согрелись, не говоря уж о ковкой мягкости в том слабом жаре, что мне удавалось распалить в горниле моего интеллекта. Они не светились ни страстью, ни нежностью чувств, но сохраняли всю мертвецкую окостенелость, глядя на меня с застывшей жуткой улыбкой сознательного сопротивления. «Что ты собрался с нами делать? — говорило это их выражение. — Те слабые силы, которыми ты мог когда-то обладать над эфемерным племенем, пропали. Ты обменял их на скудное золото людское. Так иди же, отработывай свое жалованье». Короче говоря, самые бездарные порождения моего воображения обвиняли меня в глупости, и нельзя сказать, что безосновательно.

Гнусное оцепенение владело мною не только три с половиной часа, которых ежедневно требовала от меня служба Дядюшке Сэму. Оно сопровождало меня и в прогулках по берегу моря, и в бесцельных походах по окрестностям, когда бы — зачастую редко и неохотно — я ни заставлял себя встряхнуться, искать живительных сил Природы, которые в прошлом дарили мне свежесть и остроту мыслей, стоило мне переступить порог Старой Усадьбы. Та же апатия, за неимением лучшего описания моих интеллектуальных усилий, довлела надо мной и в комнате, которую я с абсурдной неуместностью

именовал своим кабинетом. Не оставляла она меня и в моменты, когда поздно ночью я сидел в опустевшей гостиной, освещенной лишь мерцающими углями и луной, стремясь создать воображаемые сцены, которые на следующий день могли бы украсить страницу многоцветными описаниями.

Если воображение отказывалось работать в подобный час, его вполне можно было признать безнадежным случаем. Лунный свет в знакомой комнате, белизной заливавший ковер и высвечивающий все узоры на нем так четко, что делало видимым все до мелочей, все же не давал той видимости, что свойственна утренним и дневным лучам, лучшему проводнику воображаемых гостей для романтического писателя. Уют привычной комнаты, где у каждого стула свои особенности, где на центральном столе стоит корзинка с рукоделием и лежит пара книг рядом с погашенной лампой, диван, книжный шкаф, картина на стене — все эти детали, вполне явственно видимые, настолько зачарованы необычным освещением, что, кажется, теряют материальность и сами становятся плодом воображения. Ничто не может затеряться или ускользнуть от внимания и этой перемены, сохранив тем самым реальность. Детский ботинок, кукла, сидящая в своей маленькой плетеной коляске, игрушечная лошадка — что угодно, что при свете дня было так или иначе использовано, приобретает некую странность, отдаленность, хотя видно столь же ясно, как днем. Таким образом, пол нашей семейной комнаты становится нейтральной территорией где-то на грани реального мира и сказки, где Настоящее и Воображаемое могут встречаться и проникать в природу друг друга. Призраки могут войти, не испугав нас. Слишком очаровывает сцена, чтобы выразить изумление при виде фигуры, любимой, но давно почившей, которая ныне тихонько сидит в луче волшебного лунного света, настолько привычно, что это заставляет сомневаться, вернулся ли призрак из мира иного или родной силуэт никогда и никуда не исчезал от камина.

Нечто в слабом мерцании тлеющих углей жизненно важно для эффекта, который я опишу. Они заливают комнату мягким светом, окрашивают румянцем стены и потолок, отражаются бликами от полированной мебели. Этот теплый свет смешивается с холодной призрачностью лунных лучей, сочетаясь, как человеческая сердечность и хрупкость, в формах, которые порождают воображение.

Воображение превращает эти формы из застывших образов в мужчин и женщин. Глядя в зеркало, мы видим — глубоко в его темных глубинах — и почти догоревший уголь в камине, и бледные лунные лучи на полу, и повторение всего света и тени, что царят в комнате, но отдаленное от реальности, ближе к воображаемому. Однако, если в подобный час, наблюдая подобную картину, человек, сидящий в одиночестве, не способен вообразить себе странностей и заставить их выглядеть истиной, ему ни в коем случае не следует писать романов.

Что же до меня, то все время моей работы в таможне ни лунный, ни солнечный свет, ни мягкий жар камина ничуть не отличались и оживляли мой разум не более, чем мерцание сальной свечи. Чувствительность моя во всех возможных сферах, равно как и связанный с ними талант — не самый ценный и отнюдь не великий, но то было лучшее, на что я способен, — в то время покинули меня.

И все же я уверен, что, возьмись я за композицию иного рода, мои способности не казались бы такими бессмысленными и безуспешными. Я мог бы, к примеру, посвятить себя записыванию воспоминаний старого капитана, одного из инспекторов, которого я не мог не упомянуть, чтобы не оказаться предельно неблагодарным, поскольку ни дня не проходило, чтобы он не вызывал у меня восхищения и смеха своим потрясающим талантом рассказчика. Если бы я мог сохранить цветистость и силу его стиля, те юмористические нотки, которыми он привычно пересыпал свои описания, то результат, я искренне в это верю, мог бы стать новым словом в литературе. Или же я мог с готовностью взяться за более серьезную задачу. Глупо было в то время, когда материальность рутинной жизни так сокрушительно давила на меня, пытаться проникнуть сознанием в прошлый век или настойчиво пытаться создать похожий образ эпохи буквально из воздуха, в то время как непостижимую красоту моего мыльного пузыря то и дело грубо разрушал контакт с какими-либо текущими обстоятельствами. Куда разумнее была попытка распылить мысль и воображение по тусклой субстанции дня сегодняшнего и таким образом добиться яркой прозрачности, одушевить бремя, что так тяжело давило на мои плечи, искать решительно истинную и неразрушимую ценность, скрытую в мелких и утомительных инцидентах или в обычных людях, с которыми я вел знакомство. Моя вина. Страница жизни, что лежала передо мной, казалась привычной и скучной лишь



**ridmi**  
ТВІЙ УЛЮБЛЕНИЙ КНИЖКОВИЙ

**КУПИТИ**